

Владимир Мазаев

(1933-2015)

Родился 12 мая 1933 года на Алтае в селе Васильчуки. Вскоре семья переехала в Кузбасс.

«Свои первые, самые счастливые четыре с половиной года жизни, я прожил с отцом и матерью и старшей сестрой в селе Куртуково, на высоком солнечном берегу «говорливой» речки Кондомы».

В декабре 1937 года отец В. Мазаева, директор школы в селе Куртуково, был арестован по статье 58 и расстрелян в подвалах Старокузнецкой тюрьмы. Отцу тогда было 33 года, сыну – четыре.

Семья перебралась в Новокузнецк. Жили у родственников «в жуткой тесноте».

По окончании филологического факультета Новокузнецкого педагогического института Владимир Мазаев работал в газетах «Комсомолец Кузбасса» и «Кузбасс», в геологической партии в Кузнецком Алатау.

С 1963 по 1968 годы Владимир Михайлович Мазаев – главный редактор Кемеровского книжного издательства. С 1971 по 1987 год возглавлял Кемеровскую областную писательскую организацию. В течение 20 лет (1966 –1986 г.г.) редактировал альманах «Огни Кузбасса». С 1990 по 1995 годы – главный редактор журнала «Литературный Кузбасс» (орган региональной писательской организации).



Первый рассказ писателя был опубликован в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1953 году.

В 1963 году Кемеровским книжным издательством выпущен первый сборник рассказов Владимира Мазаева «Конец Лосинового камня». Всего у него вышло более 20 книг.

В 1979 году В. Мазаеву была присуждена премия журнала «Наш современник» за рассказ «Багульник – трава пьяная» из цикла «Рассказы сибирячки».

Лауреат именной кузбасской премии им. А.Н. Волошина за 1997–1999 годы.

Ряд повестей, рассказов («Танюшка», «Странная командировка», «Багульник – трава пьяная», «Гармошка на том берегу» и др.) переведены на немецкий, венгерский, болгарский, чешский, словацкий языки.

По произведениям В.М. Мазаева в 2003 году кемеровским театром «Слово» был поставлен спектакль «Будем живы, свидимся...». Кемеровский театр драмы в 2005 году поставил спектакль по пьесе «Рассказы сибирячки».

Без любви прожить можно...

Если бы она пришла днём, как обещала, и покормила его, он ни за что не полез бы на эту полку и не уронил эту банку. Да и не ронял он её вовсе, даже не притронулся. Сама уронилась...

Как всё было? Утром она проспала (она часто просыпала), подхватила, побежала по комнате, шлёпая голыми пятками, отчего он и проснулся. Уходя, она наказала ему, чтобы ел в кастрюле картошку и пил чай на плитке. В обед прискочит, принесёт чего-нибудь. Но чтобы плитку включать – не смел. «Руки одеру!» – пригрозила уже с порога, и дверь за ней хлопнулась.

Она спросонок забыла: картошку он доел ещё вчера.

Сейчас он выскреб ложкой пригорелые остатки, попил стылого чаю и занялся игрушками. Их у него было много. Во-первых, тол-

РАССКАЗ

стая пластмассовая рыба-кит (такая толстая, что могла быть и барабаном, если крепко колотить по ней чем-нибудь). Во-вторых, железная корзина из-под бутылок. Эта тяжёлая штука-вина могла быть чем угодно, но лучше всего – самосвалом. По крайней мере, громыхла по полу, когда потащишь, – ну прям настоящий самосвал. Потом – два колёсика и к ним обломок лыжной палки с наконечником. Колёса надевались на палку, а можно было катать и так. Ну и ещё кое-что. Например, старый резиновый мяч. Если выдавить из него воздух и сплюснутый надеть на голову, то мяч сам надует и спрыгнет с головы, как живой.

Однако играть что-то не хотелось. Он посмотрел на стрелки часов. Она придёт, когда

оде стрелки соединяется в самом верху. Сейчас до верха – ещё вон сколько. На стрелки долго смотреть не стал, ибо знал: когда смотришь долго, они перестают двигаться.

Он решил погулять по двору, за пределы которого ему также под страхом наказания выходить запрещалось. Деревянный дом их стоял в ряду улицы, зажатой двумя пригородными дорогами. С одной стороны день и ночь гремели поезда, с другой – с рёвом и дымом устрашающе проносились машины. От больших домов за переездом часто долетали гульки вздохи свай-бабы: оп-па! оп-па!

Внизу за огородом, поросшим лебедой и синим чертополохом, протекал ручей. К нему подходить тоже нельзя («Узнаю, возьму прут, бока налуплю!»). Но он подходил, конечно. Из-за мути угольного шлака дно не просматривалось, отчего ручей казался глубоким, был жутковато-пугающим и в то же время мажущим.

Он не утерпел однажды, забрёл по колено, долго, заворожённо смотрел на быструю щекочущую воду – закружилась голова, и он упал на четвереньки, едва не захлебнулся при этом. Выполз на берег, и его тут же стошнило. Он не понимал, что с ним, сильно напугался, уполз в огородную траву, там долго лежал.

К враждебности рычащих по дороге самосвалов, острых камней шлака во дворе прибавилась враждебность ручья.

Двор – маленький, голый, с белёсой от придорожной пыли травкой и белёсыми же сникшими головками одуванчиков вдоль ограды из кривых штакетин. В дальнем конце приткнулась большая, сбитая из досок собачья конура. Стояла она тут давно, с тех пор, как он помнит себя. В ней обитал приبلудный пёс – большой, под стать будке, и, должно быть, старый, со слезящимися глазами, весь в пучках линялой шерсти. По кличке Пират.

Он изредка выносил ему кусочек хлеба или картофелину. Пират одним махом сглатывал подношение, и чувство голода от этих скромных угощений только обострялось. Но всё равно Пират был в лучшем положении, чем он. Если псу становилось совсем невмоготу, он мог сбежать на промысел к большим домам за переездом, к мусорным бакам во дворах. Это зимой. А летом, кроме того, порыть мышей в огороде. Вот и сейчас Пирата в конуре не было – значит, промышляет.

Он подошёл к ограде. У него была большая, не по тщедушному телу голова, оттопыренные уши. Сунул голову меж двух разошедшихся штакетин – куда пролезла, – стал глядеть на улицу.

Машины проносились, вздувая и волоча облака пыли. Мимо по обочине, как бы кра-

дучись, пробегали изредка прохожие. Машин было много, а людей мало, лучше бы наоборот.

* * *

Вот показалась высокая голенастая девочка с пластиковым ярким пакетом в руках. Сквозь пластик просвечивали яблоки.

Он протянул из штакетника растопыренную пятерню. Девочка удивлённо посмотрела, достала из пакета яблоко. Он молча схватил его грязной лапкой.

Девочка наклонилась к нему, большеголовому, смешному, в обвисших, как лягушачья кожа, колготках, назидательно спросила:

– А что нужно при этом сказать?

На всякий случай он быстро надкусил яблоко, чтобы не отобрала.

– Ты не знаешь, что при этом нужно сказать? – противным голосом повторила она с улыбочкой. – Ай-яй-яй!

– Стерва, – сказал он набитым ртом. – Я тебе всю морду побью.

Высокая девочка ужасно покраснела, оглянулась зачем-то по сторонам – торопливо ушла.

Вскоре прошагали два огромных дядьки, громко разговаривали, его за штакетником даже не заметили.

Долго обочина пустовала, только страшно рычащие самосвалы взад-вперёд проносились, сорили на дорогу то углём, то гравием.

Когда же с ним поравнялась толстая бабка в белом платочке (она шла медленно, с одышкой, несла хозяйственную сумку неизвестно с чем), он снова требовательно протянул руку.

– Чего тебе? – спросила, приостановившись.

– Дай! – сказал он.

– Что? – не понимала старая.

– Дай! – он сжал пальцы в кулачок и снова разжал, что должно означать: «Чего тут непонятного? Чего есть?».

Бабка покачала горестно головой, долго шарила в сумке. Вынула из её недр пачку фруктовых вафель. Горбатым, неуклюжим пальцем стала расковыривать обёртку, бормоча: «Сичас, милый, сичас...».

Делала она это ужасно медленно, так что он, танцуя от нетерпения, успел просунуться сквозь штакетины, дотянулся и вдруг выхватил из бабкиной хилой руки всю пачку. Обдирая уши, рванулся назад, отбежал в глубину двора, не забывая поддегивать на ходу сползающие с голой попы колготки. Но побежал не в дом, а шмыгнул в огород за домом, спрятался в бурьяне.

Убедившись, что, бабка за ним не погналась, он разорвал обёртку, стал жадно хрумкать – вафлю за вафлей. На этот хрум из бурьянных

зарослей высунулся Пират, нос в земле, помакивал хвостом, так что сзади шевелился бурьян. Он же, торопливо жуя, думал при этом: дать Пирату кусочек или нет? А когда все-таки решил дать, то уже все вафли конились.

Захотелось пить. Прокравшись в дом (вдруг бабка из-за ограды караулит!), он напился воды из ведра и сел в углу среди своих игрушек: двух колёс, лыжной палки, корзины, рваного мяча.

Вскоре его сморил сон, и он уснул, где сидел, головой на толстую рыбу.

Проснувшись, первым делом глянул на часы. Огорчился: она давно должна прийти – и вот нету и нету.

Болело ухо, поцарапанное о штакетину, да это пустяки, у него всегда что-нибудь болело. То коленку обдерёт, то наступит на острый камень шлака, а то и затылком об пол трахнется (он часто падал – ни от чего, просто так: должно быть, голова перевешивала).

Теперь снова захотелось есть, да так сильно, что если бы не липкие ладошки, то он бы решил: вафли ему приснились.

Над кухонным столом висел шкафчик, задрнутый марлевой тряпичей. Он знал – в нём, в этом шкафчике, никогда ничего не бывает, одни шуршащие тараканы. И всё же решил проверить: вдруг да есть?

Встав коленками на стол, потянул марлю, которая зацепилась, дёрнул.

Тут-то с полки и грохнула пузатая банка, ударилась о стол, с ужасным звяком раскололась на мелкие дребезги. Вонючая мутная жидкость оплеснула колени, потекла певучими громкими струйками на пол. Он в испуге отбежал, спрятался за шифоньер.

* * *

Она пришла поздно, в первых сумерках. Широко, на весь проём распахнула со стуком дверь, замаячила на пороге, ухватившись за косяк.

Он, лежащий одетым в своей кровати, ждал, потому что понял: пьяная.

Была она в широкой рабочей куртке и штанах, обрызганных известью, – значит, опять забыла переодеться. В руке – обвисшая сетка с горсткой яиц. Сетка стукалась о порог, и из неё текло.

– Где ты... – бормотала она, шлёпая по стене ладонью, добираясь до выключателя. – Где ты, моя радость?..

Он в кровати тихо заплакал.

Он знал всё, что за этим теперь последует. Теперь она станет нестерпимо ласковой и любвеобильной, какой она никогда не бывает, если не пьяная. Станет тискать вялыми руками, мокро целовать и визгливо смеяться при

этом неизвество чему. А потом сразу, в один момент уснёт. Он ненавидел её поцелуи.

Щёлкнуло наконец. Вспыхнула на потолке лампочка, осветила серые стены, убогую обстановку, тряпье постелей, замытый пол, грязную посуду под раковиной и на полу.

От неё, когда она склонилась над ним, прижалась, пахло так же, как от банки, которую он разбил. Он ненавидел эту банку даже больше, чем её мокрые поцелуи.

У неё были красивые густые волосы. Косынка сползла на спину, и волосы распушились, взлохматились, осыпали ему лицо, он задохнулся в них, закашлялся.

– А я-то, сволочь такая, опять вдрабадан... – смеялась со всхлипами она. – Вот, получила аванс... – сообщила, жулькая в руке горсть бумажек. Одна упала на пол, и она наклонилась, долго ловила её. Выпрямилась, стала разглядывать бумажки, складывать одна к одной, бормоча при этом:

– Какие это, чёрт, деньги... да это только глаза запорошить... ну чё с ими делать... два раза моргнуть – и деньги все...

Тяжело прошла к столу, опустилась на табурет. Долго качалась в молчании, нахохленно, опершись ладонями в края табурета, блуждала взглядом – по голым стенам, по печи с облупившимся боком, но ничего не видела.

Она была сейчас далеко – в своём пугающем тайном, непредсказуемом, в недоступном ему мире. Но вот что-то неуловимо переменялось в её облике. Лицо её разгладилось, помолодело. Проступил в нём далёкий неясный свет, легкое зарево, отблеск надежды, оно стало совсем юным.

Она тихим и чистым, чуть дрожащим голосом, какого он у неё никогда не слышал, вдруг запела протяжно:

**– Заиграла гармоза,
а я думала гроза.
Без любви прожить можно,
а я думала, нельзя...**

Смысла слов он не понимал, но лицо её, но её голос! Он уже готов был выскользнуть из своего тряпья, подбежать к ней, уткнуться в бок, ведь он так любит её!

* * *

В эту минуту за тенью окна прогромыхал состав, мелко сотряс дом. Створки кособокого шифоньера со скрипом отворились...

Она очнулась, минута погасла. Глаза её уставились в стол, только сейчас она увидела на нём россыпь битого стекла.

В одном из осколочков блестела мутная жидкости. Обмакнула палец, лизнула. Подняла и вперила взгляд в полку.

Расслабленные мышцы лица напряглись, отразили мучительную работу ума.

Наконец она произнесла хрипло, почти шёпотом:

– Ты? разбил? банку?

Он, украдкой следивший за ней издали, в ответ тоненько и длинно, как волчонок, завыл.

Она с шаткой резвостью, которая неизвестно откуда взялась в ней, подбежала, нависла над ним, крикнула надрывно:

– Зачем ты туда лазил?.. Зачем, спрашиваю?!

И ударила, но подавшееся покорно под рукой тощенькое тельце вызвало в ней новый приступ злобы. Выкрикивая бессвязные слова, из которых «стервец», «гаденыш» и «ирод» были самыми безобидными, она в исступлении схватила, сдёрнула его вместе с постельным тряпьем на пол.

Он уже не выл, всхлипывал и полз к ней, всё к ней, цеплялся за пинавшие его ноги, чем ещё больше распаял её.

Но вот она устала, волоком – за ворот рубашки – протащила его к двери, перекинула через порог в сенки. Большая голова его при этом стукнулась о половицу, как костяной шар.

– Будешь знать наперёд, тварь! – и захлопнула двери. Силы её враз покинули. Она прислонилась к косяку, взлохмаченная, потная, тяжело сквозь зубы дышала. Опустилась на пол.

Через минуту, сидя у порога, обмякло навалившись спиной на дверь, она спала.

Он, боясь громко плакать, а только поскуливая, нащупал так безжалостно хлопнувшую за ним дверь, поскрёбся, стал толкать изо всех сил – не поддавалась. Значит, закрылась от него на засов, решил он.

В сенях было темно, страшно. Он торопливо выбрался во двор.

В сумеречном дворе тоже всё угрюмо, неузнаваемо. Под сполохами света тяжёлых машин чёрной решёткой скалился штакетник. В зарослях за домом угрожающе шуршало. Земля от вечерней росы была влажной. Сквозь протёртые колготки стали зябнуть ступни.

Продолжая тихо скулить, он побрёл вдоль штакетника, пока не набрёл на что-то тёмное, угловатое – собачья конура. Из дыры тнянуло живым теплом, и он, дрожа от озноба, заполз в конуру.

Невидимый во тьме Пират шевельнулся на сухой истертой подстилке, лизнул его в лоб горячим языком. Он безбоязненно обхватил, обшупал собачью морду, мягкие свисающие уши и лёг, подкатился под лохматый, тепло и покойно дышащий бок.

* * *

Рано утром двор огласился хриплым со сна, встревоженным зовом.

Проревел по дороге самосвал, тяжёлая росная пыль оседала за ним ливнем.

С отёкшим лицом, растрепанная, в брезентовой забрызганной известью грубой робе, она заметалась по двору.

Потом побежала в огород, скоро вернулась. Постояла растерянно, пооглядывалась в разные стороны – и двинулась к собачьей конуре. Присев на корточки и нервно отбрасывая падающие на глаза волосы, заглянула внутрь.

Пират неожиданно зарычал.

Она испуганно отпрянула, однако успела разглядеть его, скукожившегося от холода, его щеку в засохших разводах вчерашних слез.

– Ах ты, подлюка, – сказала она псу, сразу успокоившись.

– Ну я щас...

И, бормоча на ходу угрозы, побежала в дом. Вышла вскоре с обломком лыжной палки в руке.

Просунув железный наконечник в конуру, она принялась яростными тычками ширять пса под рёбра. Пёс жался к стене, рычал, огрызался, а потом, когда, должно быть, стало невмоготу, цапнул её за палец. Она вскрикнула и выронила палку.

От поднятого шума он проснулся, выполз из конуры, жмурясь на свет.

Она трясла запястьем, плакала, ругалась сквозь слёзы.

– Гляди, – кричала она, – чего эта зверюга сделал... до крови кусил. А если бешеный? Ой, лихо мне, сёдня же будку в прах разломаю...

И с причитаниями мелкой пошатывающейся трусости заторопилась снова в дом.

Пёс затих в глубине конуры, стал зализывать разодранную железным наконечником губу.

Подняв выроненный ею обломок, он живо влез внутрь и неловко ткнул наконечником Пирату в бок.

– Ты зачем кусил, а? Зачем кусил?

Пёс заперебирал лапами, теснясь своим костистым задом в дальний угол конуры.

– Тварь такая, – сказал он и ударил Пирата по голове.

Пёс взвизгнул жалобно и заморгал, отводя взгляд (осознал, видать, старый свою оплошку!).

Тогда он снова ударил.

В этой собачьей покорности и беззащитности ощутил он внезапно некую неиспытываемую прежде для себя сладость. И захотелось ещё!

В слезящихся глазах Пирата стояли недоумение и боль, в то время как он, распаялся, ширял его под рёбра железным наконечником, при этом торжествующе приговаривал: «Тварь... тварь... тварь...»

**«Заиграла гармоза,
а я думала, гроза.**

Без любви прожить можно...»

Уже вовсю громыхали по улице мастодонты-самосвалы, сизый дым, восходя, смешивался с трепещущим над ручьём бесплотным туманом.

Со стороны больших домов заохала, гулко застреляла свай-баба: оп-па! оп-па!

И тяжкий ритм её ударов странно и загадочно совпадал с ритмом этой нехитрой песенки, звучавшей ниоткуда –

из воздуха, из дыма выхлопов,

из собачьей боли,

из стойкого безлюдья грохочущей улицы.

*Из книги «Грозовая аномалия».
(Кемерово. 2008 год)*